

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

# КУПРИН

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



КЛАССИКА РУССКОЙ  
ДУХОВНОЙ ПРОЗЫ

---

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ  
«НИКЕЯ»

Классика русской духовной прозы

Александр Куприн  
**Повести и рассказы**

«Никея»

УДК 821.161.1  
ББК 86.372+84(2Рос=Рус)1

**Куприн А. И.**

Повести и рассказы / А. И. Куприн — «Никея», — (Классика русской духовной прозы)

ISBN 978-5-91761-373-4

В сборник А. И. Куприна вошли произведения разных лет, созданные и до революции, и позже, в эмигрантский период творчества великого русского классика. Здесь представлены святочные и пасхальные рассказы, размышления о революции и судьбе России, а также рассказы на одну из самых главных для Куприна тем – тему любви. Все вместе, эти произведения отражают духовный поиск писателя и его сложный жизненный путь, полный не только тяжелых испытаний, но и неугасимой любви и надежды.

УДК 821.161.1

ББК 86.372+84(2Рос=Рус)1

ISBN 978-5-91761-373-4

© Куприн А. И.  
© Никея

## Содержание

Предисловие	5
Святочные и пасхальные рассказы	8
Чудесный доктор	8
Тапер[2]	13
Начальница тяги	21
Конец ознакомительного фрагмента.	24

# Александр Иванович Куприн

## Повести и рассказы

### Предисловие

Александр Иванович Куприн родился 26 августа 1870 года в уездном городке Наровчате Пензенской губернии. Отец его, коллежский регистратор, умер в тридцать семь лет от холеры. Мать, оставшись одна с тремя детьми и практически без средств к существованию, отправилась в Москву. Там ей удалось устроить дочерей в пансион «на казенный кошт», а сын поселился вместе с матерью во Вдовьем доме на Пресне. (Сюда принимались вдовы военных и гражданских лиц, прослуживших на благо Отечества не менее десяти лет.) В шесть лет Саша Куприн был принят в сиротское училище, четыре года спустя – в Московскую военную гимназию, затем в Александровское военное училище, а после был направлен в 46-й Днепровский полк. Таким образом, юные годы писателя прошли в казенной обстановке, строжайшей дисциплине и муштре.

Его мечта о вольной жизни сбылась только в 1894 году, когда после отставки он приехал в Киев. Здесь, не имея никакой гражданской профессии, но чувствуя в себе литературный талант (еще кадетом он опубликовал рассказ «Последний дебют»), Куприн устроился репортером в несколько местных газет.

Работа давалась ему легко, писал он, по собственному признанию, «на бегу, на лету». Жизнь, словно в компенсацию за скуку и однообразие юности, теперь не скупилась на впечатления. В следующие несколько лет Куприн многократно сменяет место жительства и род деятельности. Волынь, Одесса, Сумы, Таганрог, Зарайск, Коломна... Чем только он не занимается: становится суфлером и актером в театральной труппе, псаломщиком, лесным объездчиком, корректором и управляющим имением; даже учится на зубного техника и летает на аэроплане.

В 1901 году Куприн переезжает в Петербург, и здесь начинается его новая, литературная жизнь. Очень скоро он становится постоянным автором известных петербургских журналов – «Русское богатство», «Мир Божий», «Журнал для всех». Один за другим выходят рассказы и повести: «Болото», «Конокрады», «Белый пудель», «Поединок», «Гамбринус», «Суламифь» и необыкновенно тонкое, лирическое произведение о любви – «Гранатовый браслет».

Повесть «Гранатовый браслет» была написана Куприным в период расцвета Серебряного века в русской литературе, который отличался эгоцентричным мироощущением. Писатели и поэты много писали тогда о любви, но она была для них больше страстью, чем высшей чистой любовью. Куприн, несмотря на эти новые тенденции, продолжает традицию русской литературы XIX века и пишет повесть о совершенно бескорыстной, высокой и чистой, настоящей любви, которая идет не «напрямую» от человека к человеку, а через любовь к Богу. Вся эта повесть – замечательная иллюстрация гимна любви апостола Павла: «Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Что нужно герою повести Желткову от своей любви? Он ничего не ищет в ней, он счастлив только оттого, что она есть. Сам Куприн заметил в одном письме, говоря об этой повести: «Ничего более целомудренного я еще не писал».

Любовь у Куприна вообще целомудренна и жертвенна: герой более позднего рассказа «Инна», будучи отвергнутым и отлученным от дома по непонятной ему причине, не пытается отомстить, забыть поскорее возлюбленную и найти утешение в объятиях другой женщины. Он

продолжает любить ее все так же самозабвенно и смиренно, и все, что ему нужно, – просто увидеть девушку, хотя бы издали. Даже получив, наконец, объяснение, а вместе с тем узнав, что Инна принадлежит другому, он не впадает в отчаяние и негодование, а, напротив, обретает покой и умиротворение.

В рассказе «Святая любовь» – все то же возвышенное чувство, объектом которого становится недостойная женщина, циничная и расчетливая Елен а. Но герой не видит ее греховности, все помыслы его настолько чисты и невинны, что он просто не в состоянии заподозрить дурного.

Не проходит и десяти лет, как Куприн становится одним из самых читаемых авторов России, а в 1909 году получает академическую Пушкинскую премию. В 1912-м выходит его собрание сочинений в девяти томах как приложение к журналу «Нива». Пришла настоящая слава, а с ней стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Однако благополучие это длилось недолго: началась Первая мировая война. Куприн устраивает в своем доме лазарет на 10 коек, его жена Елизавета Морицовна, бывшая сестра милосердия, ухаживает за ранеными.

Принять Октябрьский переворот 1917-го Куприн не смог. Поражение Белой армии он воспринял как личную трагедию. «Я... склоняю почтительно голову перед героями всех добровольческих армий и отрядов, полагавших бескорыстно и самоотверженно душу свою за други своя», – скажет он позднее в своем произведении «Купол Святого Исаакя Далматского». Но самое страшное для него – изменения, произошедшие с людьми в одночасье. Люди «зверели» на глазах, теряли человеческий облик. Во многих своих произведениях («Купол Святого Исаакя Далматского», «Обыск», «Допрос», «Пегие лошади. Апокриф» и др.) Куприн описывает эти страшные изменения в человеческих душах, происходившие в послереволюционные годы.

В 1918 году Куприн встретился с Лениным. «В первый и, вероятно, последний раз за всю жизнь я пошел к человеку с единственной целью – поглядеть на него», – признается он в рассказе «Ленин. Моментальная фотография». Тот, кого он увидел, был далек от образа, который навязывала советская пропаганда. «Ночью, уже в постели, без огня, я опять обратился памятью к Ленину, с необычайной ясностью вызвал его образ и... испугался. Мне показалось, что на мгновение я как будто бы вошел в него, почувствовал себя им. „В сущности, – подумал я, – этот человек, такой простой, вежливый и здоровый, гораздо страшнее Нерона, Тиберия, Иоанна Грозного. Те, при всем своем душевном уродстве, были все-таки людьми, доступными капризам дня и колебаниям характера. Этот же – нечто вроде камня, вроде утеса, который оторвался от горного кряжа и стремительно катится вниз, уничтожая все на своем пути. И при том – подумайте! – камень, в силу какого-то волшебства, – мыслящий! Нет у него ни чувства, ни желаний, ни инстинктов. Одна острая, сухая, непобедимая мысль: падая – уничтожаю“».

Спасаясь от разрухи и голода, охвативших послереволюционную Россию, Куприны уезжают в Финляндию. Здесь писатель активно работает в эмигрантской прессе. Но в 1920 году ему и его семье снова приходится переезжать. «Не моя воля, что сама судьба наполняет ветром паруса нашего корабля и гонит его в Европу. Газета скоро кончится. Финский паспорт у меня до 1 июня, а после этого срока будут позволять жить лишь гомеопатическими дозами. Есть три дороги: Берлин, Париж и Прага... Но я, русский малограмотный витязь, плохо разбираю, кручу головой и чешу в затылке», – писал он Репину. Вопрос с выбором страны помогло решить письмо Бунина из Парижа, и в июле 1920 года Куприн с семьей переезжает в Париж.

Однако ни долгожданного покоя, ни благополучия не наступает. Здесь они всем чужие, без жилья, без работы, одним словом – беженцы. Куприн занимается литературной поденщиной. Работы много, но оплачивается она невысоко, денег катастрофически не хватает. Своему старому другу Заикину он сообщает: «...остался голый и нищий, как бездомная собака». Но еще сильнее, чем нужда, его изматывает тоска по родине. В 1921 году он пишет писателю Гуцику в Таллин: «...нет дня, чтоб я не вспоминал Гатчину, зачем я уехал. Лучше голодать

и холодать дома, чем жить из милости у соседа под лавкой. Хочу домой...» Куприн мечтает вернуться в Россию, но боится, что там его встретят как предателя Родины.

Постепенно жизнь наладилась, однако ностальгия осталась, только «потеряла остроту и стала хронической», – писал Куприн в очерке «Родина». «Живешь в прекрасной стране, среди умных и добрых людей, среди памятников величайшей культуры... Но все точно понарошку, точно разворачивается фильма кинематографа. И вся молчаливая, тупая скорбь о том, что уже не плачешь во сне и не видишь в мечте ни Знаменской площади, ни Арбата, ни Поварской, ни Москвы, ни России, а только черную дыру». Тоска по утраченной счастливой жизни слышится в рассказе «У Троице-Сергия»: «Но что же я могу с собою поделатъ, если прошлое живет во мне со всеми чувствами, звуками, песнями, криками, образами, запахами и вкусами, а теперешняя жизнь тянется передо мною как ежедневная, никогда не переменяемая, надоевшая, истрепленная фильма. И не в прошедшем ли мы живем острее, но глубже, печальнее, но слаще, чем в настоящем?»

«Эмиграция вконец изжевала меня, а отдаленность от Родины приплюснула мой дух», – говорил Куприн. В 1937 году писатель получил разрешение правительства на возвращение. В Россию он вернулся смертельно больным стариком.

Куприн умер 25 августа 1938 года в Ленинграде, похоронили его на Литераторских мостках Волковского кладбища.

*Татьяна Клапчук*

## Святочные и пасхальные рассказы

### Чудесный доктор

Следующий рассказ не есть плод досужего вымысла. Все описанное мною действительно произошло в Киеве лет около тридцати тому назад и до сих пор свято, до мельчайших подробностей, сохраняется в преданиях того семейства, о котором пойдет речь. Я, с своей стороны, лишь изменил имена некоторых действующих лиц этой трогательной истории да придал устному рассказу письменную форму.

– Гриш, а Гриш! Гляди-ка, поросенок-то... Смеется... Да-а. А во рту-то у него!.. Смотри, смотри... травка во рту, ей-богу, травка!.. Вот штука-то!

И двое мальчуганов, стоящих перед огромным, из цельного стекла, окном гастрономического магазина, принялись неудержимо хохотать, толкая друг друга в бок локтями, но невольно приплясывая от жестокой стужи. Они уже более пяти минут торчали перед этой великолепной выставкой, возбуждавшей в одинаковой степени их умы и желудки. Здесь, освещенные ярким светом висящих ламп, возвышались целые горы красных крепких яблоков и апельсинов; стояли правильные пирамиды мандаринов, нежно золотившихся сквозь окутывающую их папиросную бумагу; протянулись на блюдах, уродливо разинув рты и выпучив глаза, огромные копченые и маринованные рыбы; ниже, окруженные гирляндами колбас, красовались сочные разрезанные окорока с толстым слоем розоватого сала... Бесчисленное множество баночек и коробочек с солеными, вареными и копчеными закусками довершало эту эффектную картину, глядя на которую оба мальчика на минуту забыли о двенадцатиградусном морозе и о важном поручении, возложенном на них матерью, – поручении, окончившемся так неожиданно и так плачевно.

Старший мальчик первый оторвался от созерцания очаровательного зрелища. Он дернул брата за рукав и произнес сурово:

– Ну, Володя, идем, идем... Нечего тут...

Одновременно подавив тяжелый вздох (старшему из них было только десять лет, и к тому же оба с утра ничего не ели, кроме пустых щей) и кинув последний влюбленно-жадный взгляд на гастрономическую выставку, мальчуганы торопливо побежали по улице. Иногда сквозь запотевшие окна какого-нибудь дома они видели елку, которая издали казалась громадной гроздью ярких, сияющих пятен, иногда они слышали даже звуки веселой польки... Но они мужественно гнали от себя прочь соблазнительную мысль: остановиться на несколько секунд и прильнуть глазком к стеклу.

По мере того как шли мальчики, все малолюднее и темнее становились улицы. Прекрасные магазины, сияющие елки, рысаки, мчавшиеся под своими синими и красными сетками, визг полозьев, праздничное оживление толпы, веселый гул окриков и разговоров, раздурманенные морозом смеющиеся лица нарядных дам – все осталось позади. Потянулись пустыри, кривые, узкие переулки, мрачные, неосвещенные косогоры... Наконец они достигли покосившегося ветхого дома, стоявшего особняком; низ его – собственно подвал – был каменный, а верх – деревянный. Обойдя тесным, обледенелым и грязным двором, служившим для всех жильцов естественной помойной ямой, они спустились вниз, в подвал, прошли в темноте общим коридором, отыскали ощупью свою дверь и отворили ее.

Уже более года жили Мерцаловы в этом подземелье. Оба мальчугана давно успели привыкнуть и к этим закоптелым, плачущим от сырости стенам, и к мокрым отрезкам, сушившимся на протянутой через комнату веревке, и к этому ужасному запаху керосинового чада, детского грязного белья и крыс – настоящему запаху нищеты. Но сегодня, после всего, что

они видели на улице, после этого праздничного ликования, которое они чувствовали повсюду, их маленькие детские сердца сжались от острого, недетского страдания. В углу, на грязной широкой постели, лежала девочка лет семи; ее лицо горело, дыхание было коротко и затруднительно, широко раскрытые блестящие глаза смотрели пристально и бесцельно. Рядом с постелью, в люльке, привешенной к потолку, кричал, морщась, надрываясь и захлебываясь, грудной ребенок. Высокая, худая женщина, с изможденным, усталым, точно почерневшим от горя лицом, стояла на коленях около больной девочки, поправляя ей подушку и в то же время не забывая подталкивать локтем качающуюся колыбель. Когда мальчики вошли и следом за ними стремительно ворвались в подвал белые клубы морозного воздуха, женщина обернула назад свое встревоженное лицо.

– Ну? Что же? – спросила она отрывисто и нетерпеливо.

Мальчики молчали. Только Гриша шумно вытер нос рукавом своего пальто, переделанного из старого ватного халата.

– Отнесли вы письмо?.. Гриша, я тебя спрашиваю, отдал ты письмо?

– Отдал, – сирым от мороза голосом ответил Гриша.

– Ну, и что же? Что ты ему сказал?

– Да все, как ты учила. Вот, говорю, от Мерцалова письмо, от вашего бывшего управляющего. А он нас обругал: «Убирайтесь вы, говорит, отсюда... Сволочи вы...»

– Да кто же это? Кто же с вами разговаривал?.. Говори толком, Гриша!

– Швейцар разговаривал... Кто же еще? Я ему говорю: «Возьмите, дяденька, письмо, передайте, а я здесь внизу ответа подожду». А он говорит: «Как же, говорит, держи карман... Есть тоже у барина время ваши письма читать...»

– Ну, а ты?

– Я ему все, как ты учила, сказал: «Есть, мол, нечего... Машутка больна... Помирает...» Говорю: «Как папа место найдет, так отблагодарит вас, Савелий Петрович, ей-богу, отблагодарит». Ну, а в это время звонок как зазвонит, как зазвонит, а он нам и говорит: «Убирайтесь скорее отсюда к черту! Чтобы духу вашего здесь не было!..» А Володку даже по затылку ударил.

– А меня он по затылку, – сказал Володя, следивший со вниманием за рассказом брата, и почесал затылок.

Старший мальчик вдруг принялся озабоченно рыться в глубоких карманах своего халата. Вытащив наконец оттуда измятый конверт, он положил его на стол и сказал:

– Вот оно, письмо-то...

Больше мать не расспрашивала. Долгое время в душной, промозглой комнате слышался только неистовый крик младенца да короткое, частое дыхание Машутки, больше похожее на беспрерывные однообразные стоны. Вдруг мать сказала, обернувшись назад:

– Там борщ есть, от обеда остался... Может, поели бы? Только холодный, – разогреть-то нечем...

В это время в коридоре послышались чьи-то неуверенные шаги и шуршание руки, отыскивающей в темноте дверь. Мать и оба мальчика – все трое даже побледнев от напряженного ожидания – обернулись в эту сторону.

Вошел Мерцалов. Он был в летнем пальто, летней войлочной шляпе и без калош. Его руки взбухли и посинели от мороза, глаза провалились, щеки облипли вокруг десен, точно у мертвеца. Он не сказал жене ни одного слова, она ему не задала ни одного вопроса. Они поняли друг друга по тому отчаянию, которое прочли друг у друга в глазах.

В этот ужасный, роковой год несчастье за несчастьем настойчиво и безжалостно сыпались на Мерцалова и его семью. Сначала он сам заболел брюшным тифом, и на его лечение ушли все их скудные сбережения. Потом, когда он поправился, он узнал, что его место, скромное место управляющего домом на двадцать пять рублей в месяц, занято уже другим... Началась отчаянная, судорожная погоня за случайной работой, за перепиской, за ничтожным местом,

залог и перезалог вещей, продажа всякого хозяйственного тряпья. А тут еще пошли болеть дети. Три месяца тому назад умерла одна девочка, теперь другая лежит в жару и без сознания. Елизавете Ивановне приходилось одновременно ухаживать за больной девочкой, кормить грудью маленького и ходить почти на другой конец города в дом, где она поденно стирала белье.

Весь сегодняшний день был занят тем, чтобы посредством нечеловеческих усилий выжать откуда-нибудь хоть несколько копеек на лекарство Машутке. С этой целью Мерцалов обегал чуть ли не полгорода, кланча и унижаясь повсюду; Елизавета Ивановна ходила к своей барыне, дети были посланы с письмом к тому барину, домом которого управлял раньше Мерцалов... Но все отговаривались или праздничными хлопотами, или неимением денег... Иные, как, например, швейцар бывшего патрона, просто-напросто гнали просителей с крыльца.

Минут десять никто не мог произнести ни слова. Вдруг Мерцалов быстро поднялся с сундука, на котором он до сих пор сидел, и решительным движением надвинул глубже на лоб свою истрепанную шляпу.

– Куда ты? – тревожно спросила Елизавета Ивановна.

Мерцалов, взявшийся уже за ручку двери, обернулся.

– Все равно, сидением ничего не поможешь, – хрипло ответил он. – Пойду еще... Хоть милостыню попробую просить.

Выйдя на улицу, он пошел бесцельно вперед. Он ничего не искал, ни на что не надеялся. Он давно уже пережил то жгучее время бедности, когда мечтаешь найти на улице бумажник с деньгами или получить внезапно наследство от неизвестного троюродного дядюшки. Теперь им овладело неудержимое желание бежать куда попало, бежать без оглядки, чтобы только не видеть молчаливого отчаяния голодной семьи.

Просить милостыни? Он уже попробовал это средство сегодня два раза. Но в первый раз какой-то господин в енотовой шубе прочел ему наставление, что надо работать, а не кланчить, а во второй – его обещали отправить в полицию.

Незаметно для себя Мерцалов очутился в центре города, у ограды густого общественного сада. Так как ему пришлось все время идти в гору, то он запыхался и почувствовал усталость. Машинально он свернул в калитку и, пройдя длинную аллею лип, занесенных снегом, опустился на низкую садовую скамейку.

Тут было тихо и торжественно. Деревья, окутанные в свои белые ризы, дремали в неподвижном величии. Иногда с верхней ветки срывался кусочек снега, и слышно было, как он шуршал, падая и цепляясь за другие ветви. Глубокая тишина и великое спокойствие, сторожившие сад, вдруг пробудили в истерзанной душе Мерцалова нестерпимую жажду такого же спокойствия, такой же тишины.

«Вот лечь бы и заснуть, – думал он, – и забыть о жене, о голодных детях, о больной Машутке». Просунув руку под жилет, Мерцалов нащупал довольно толстую веревку, служившую ему поясом. Мысль о самоубийстве совершенно ясно встала в его голове. Но он не ужаснулся этой мысли, ни на мгновение не содрогнулся перед мраком неизвестного.

«Чем погибать медленно, так не лучше ли избрать более краткий путь?» Он уже хотел встать, чтобы исполнить свое страшное намерение, но в это время в конце аллеи послышался скрип шагов, отчетливо раздавшийся в морозном воздухе. Мерцалов с озлоблением обернулся в эту сторону. Кто-то шел по аллее. Сначала был виден огонек то вспыхивающей, то потухающей сигары. Потом Мерцалов мало-помалу мог разглядеть старика небольшого роста, в теплой шапке, меховом пальто и высоких калошах. Поравнявшись со скамейкой, незнакомец вдруг круто повернул в сторону Мерцалова и, слегка дотрагиваясь до шапки, спросил:

– Вы позволите здесь присесть?

Мерцалов умышленно резко отвернулся от незнакомца и подвинулся к краю скамейки. Минут пять прошло в обоюдном молчании, в продолжение которого незнакомец курил сигару и (Мерцалов это чувствовал) искоса наблюдал за своим соседом.

– Ночка-то какая славная, – заговорил вдруг незнакомец. – Морозно... тихо. Что за прелесть – русская зима!

Голос у него был мягкий, ласковый, старческий. Мерцалов молчал, не обращившись.

– А я вот ребятишкам знакомым подарочки купил, – продолжал незнакомец (в руках у него было несколько свертков). – Да вот по дороге не утерпел, сделал круг, чтобы садом пройти: очень уж здесь хорошо.

Мерцалов вообще был кротким и застенчивым человеком, но при последних словах незнакомца его охватил вдруг прилив отчаянной злобы. Он резким движением повернулся в сторону старика и закричал, нелепо размахивая руками и задыхаясь:

– Подарочки!.. Подарочки!.. Знакомым ребятишкам подарочки!.. А я... а у меня, милостивый государь, в настоящую минуту мои ребятишки с голоду дома подышают... Подарочки!.. А у жены молоко пропало, и грудной ребенок целый день не ел... Подарочки!..

Мерцалов ожидал, что после этих беспорядочных, озлобленных криков старик поднимется и уйдет, но он ошибся. Старик приблизил к нему свое умное, серьезное лицо с седыми баками и сказал дружелюбно, но серьезным тоном:

– Подождите... не волнуйтесь! Расскажите мне все по порядку и как можно короче. Может быть, вместе мы придумаем что-нибудь для вас.

В необыкновенном лице незнакомца было что-то до того спокойное и внушающее доверие, что Мерцалов тотчас же без малейшей утайки, но страшно волнуясь и спеша, передал свою историю. Он рассказал о своей болезни, о потере места, о смерти ребенка, обо всех своих несчастиях, вплоть до нынешнего дня. Незнакомец слушал, не перебивая его ни словом, и только все пытливее и пристальнее заглядывал в его глаза, точно желая проникнуть в самую глубь этой наболевшей, возмущенной души. Вдруг он быстрым, совсем юношеским движением вскочил с своего места и схватил Мерцалова за руку. Мерцалов невольно тоже встал.

– Едемте! – сказал незнакомец, увлекая за руку Мерцалова. – Едемте скорее!.. Счастье ваше, что вы встретились с врачом. Я, конечно, ни за что не могу ручаться, но... поедemте!

Минут через десять Мерцалов и доктор уже входили в подвал. Елизавета Ивановна лежала на постели рядом со своей больной дочерью, зарывшись лицом в грязные, замаслившиеся подушки. Мальчишки хлебали борщ, сидя на тех же местах. Испуганные долгим отсутствием отца и неподвижностью матери, они плакали, размазывая слезы по лицу грязными кулаками и обильно проливая их в закопченный чугунок. Войдя в комнату, доктор скинул с себя пальто и, оставшись в старомодном, довольно поношенном сюртуке, подошел к Елизавете Ивановне. Она даже не подняла головы при его приближении.

– Ну, полно, полно, голубушка, – заговорил доктор, ласково погладив женщину по спине. – Вставайте-ка! Покажите мне вашу больную.

И точно так же, как недавно в саду, что-то ласковое и убедительное, звучавшее в его голосе, заставило Елизавету Ивановну мигом подняться с постели и беспрекословно исполнить все, что говорил доктор. Через две минуты Гришка уже растапливал печку дровами, за которыми чудесный доктор послал к соседям, Володя раздувал изо всех сил самовар, Елизавета Ивановна обворачивала Машутку согревающим компрессом... Немного погодя явился и Мерцалов. На три рубля, полученные от доктора, он успел купить за это время чаю, сахару, булок и достать в ближайшем трактире горячей пищи. Доктор сидел за столом и что-то писал на клочке бумажки, который он вырвал из записной книжки. Окончив это занятие и изобразив внизу какой-то своеобразный крючок вместо подписи, он встал, прикрыл написанное чайным блюдечком и сказал:

– Вот с этой бумажкой вы пойдете в аптеку... давайте через два часа по чайной ложке. Это вызовет у малютки отхаркивание... Продолжайте согревающий компресс... Кроме того, хотя бы вашей дочери и сделалось лучше, во всяком случае пригласите завтра доктора Афросимова. Это дельный врач и хороший человек. Я его сейчас же предупрежу. Затем прощайте, господа!

Дай Бог, чтобы наступающий год немного снисходительнее отнесся к вам, чем этот, а главное – не падайте никогда духом.

Пожав руки Мерцалову и Елизавете Ивановне, все еще не оправившимся от изумления, и потрепав мимоходом по щеке разинувшего рот Володю, доктор быстро всунул свои ноги в глубокие калоши и надел пальто. Мерцалов опомнился только тогда, когда доктор уже был в коридоре, и кинулся вслед за ним.

Так как в темноте нельзя было ничего разобрать, то Мерцалов закричал наугад:

– Доктор! Доктор, постойте!.. Скажите мне ваше имя, доктор! Пусть хоть мои дети будут за вас молиться!

И он водил в воздухе руками, чтобы поймать невидимого доктора. Но в это время в другом конце коридора спокойный старческий голос произнес:

– Э! Вот еще пустяки выдумали!.. Возвращайтесь-ка домой скорей!

Когда он возвратился, его ожидал сюрприз: под чайным блюдцем вместе с рецептом чудесного доктора лежало несколько крупных кредитных билетов...

В тот же вечер Мерцалов узнал и фамилию своего неожиданного благодетеля. На аптечном ярлыке, прикрепленном к пузырьку с лекарством, четкою рукою аптекаря было написано: «По рецепту профессора Пирогова<sup>1</sup>».

Я слышал этот рассказ, и неоднократно, из уст самого Григория Емельяновича Мерцалова – того самого Гришки, который в описанный мною сочельник проливал слезы в закоптелый чугунок с пустым борщом. Теперь он занимает довольно крупный, ответственный пост в одном из банков, сльвя образцом честности и отзывчивости на нужды бедности. И каждый раз, заканчивая свое повествование о чудесном докторе, он прибавляет голосом, дрожащим от скрывааемых слез:

– С этих пор точно благодетельный ангел снизошел в нашу семью. Все переменялось. В начале января отец отыскал место, Машутка встала на ноги, меня с братом удалось пристроить в гимназию на казенный счет. Просто чудо совершил этот святой человек. А мы нашего чудесного доктора только раз видели с тех пор – это когда его перевозили мертвого в его собственное имение Вишню. Да и то не его видели, потому что то великое, мощное и святое, что жило и горело в чудесном докторе при его жизни, угасло невозвратно.

1897 г.

---

<sup>1</sup> Пирогов Николай Иванович (1810–1881) – хирург, анатом и естествоиспытатель, основоположник русской военно-полевой хирургии, основатель русской школы анестезии.

## Тапер<sup>2</sup>

Двенадцатилетняя Тиночка Руднева влетела, как разрывная бомба, в комнату, где ее старшие сестры одевались с помощью двух горничных к сегодняшнему вечеру. Взволнованная, запыхавшаяся, с разлетевшимися кудряшками на лбу, вся розовая от быстрого бега, она была в эту минуту похожа на хорошенького мальчишку.

– Mesdames<sup>3</sup>, а где же тапер? Я спрашивала у всех в доме, и никто ничего не знает. Тот говорит – мне не приказывали, тот говорит – это не мое дело... У нас постоянно, постоянно так, – горячилась Тиночка, топя каблуком о пол. – Всегда что-нибудь перепутают, забудут и потом начинают сваливать друг на друга...

Самая старшая из сестер, Лидия Аркадьевна, стояла перед трюмо. Повернувшись боком к зеркалу и изогнув назад свою прекрасную обнаженную шею, она, слегка прищуривая близорукие глаза, закалывала в волосы чайную розу. Она не выносила никакого шума и относилась к «мелюзге» с холодным и вежливым презрением. Взглянув на отражение Тины в зеркале, она заметила с неудовольствием:

– Больше всего в доме беспорядка делаешь, конечно, ты, – сколько раз я тебя просила, чтобы ты не вбегала, как сумасшедшая, в комнаты.

Тина насмешливо присела и показала зеркалу язык. Потом она обернулась к другой сестре, Татьяне Аркадьевне, около которой возилась на полу модистка, подметывая на живую нитку низ голубой юбки, и затараторила:

– Ну, понятно, что от нашей Несмеяны-царевны ничего, кроме наставлений, не услышишь. Танечка, голубушка, как бы ты там все это устроила. Меня никто не слушается, только смеются, когда я говорю... Танечка, пойдем, пожалуйста, а то ведь скоро шесть часов, через час и елку будем зажигать...

Тина только в этом году была допущена к устройству елки. Не далее как на прошлое Рождество ее в это время запирали с младшей сестрой Катей и с ее сверстницами в детскую, уверяя, что в зале нет никакой елки, а что «просто только пришли полотеры». Поэтому понятно, что теперь, когда Тина получила особые привилегии, равнявшие ее некоторым образом со старшими сестрами, она волновалась больше всех, хлопотала и бегала за десятерых, попадаясь ежеминутно кому-нибудь под ноги, и только усиливала общую суету, царившую обыкновенно на праздниках в рудневском доме.

Семья Рудневых принадлежала к одной из самых безалаберных, гостеприимных и шумных московских семей, обитающих испокон века в окрестностях Пресни, Новинского и Конюшков и создавших когда-то Москве ее репутацию хлебосольного города. Дом Рудневых – большой ветхий дом доекатерининской постройки, со львами на воротах, с широким подъездным двором и с массивными белыми колоннами у парадного – круглый год с утра до поздней ночи кишел народом. Приезжали без всякого предупреждения, «сюрпризом», какие-то соседи по нарвчатскому или инсарскому имению, какие-то дальние родственники, которых до сих пор никто в глаза не видал и не слышал об их существовании, – и гостили по месяцам. К Аркаше и Мите десятками ходили товарищи, менявшие с годами свою оболочку, сначала гимназистами и кадетами, потом юнкерами и студентами и, наконец, безусыми офицерами или щеголеватými, преувеличенно серьезными помощниками присяжных поверенных<sup>4</sup>. Девочек постоянно навещали подруги всевозможных возрастов, начиная от Катиных сверстниц, приводивших с собою в гости своих кукол, и кончая приятельницами Лидии, которые говорили

---

<sup>2</sup> Тапер (фр. «taper») – в конце XIX – начале XX вв. пианист, игравший в ресторанах и на танцевальных вечерах.

<sup>3</sup> Сударыни (фр.).

<sup>4</sup> Присяжный поверенный – адвокат в Российской империи при окружном суде или судебной палате.

о Марксе и об аграрной системе и вместе с Лидией стремились на высшие женские курсы. На праздниках, когда вся эта веселая, задорная молодежь собиралась в громадном рудневском доме, вместе с нею надолго водворялась атмосфера какой-то общей наивной, поэтической и шаловливой влюбленности.

Эти дни бывали днями полной анархии, приводившей в отчаяние прислугу. Все условные понятия о времени, разграниченном, «как у людей», чаем, завтраком, обедом и ужином, смешивались в шумной и беспорядочной суете. В то время когда одни кончали обедать, другие только что начинали пить утренний чай, а третьи целый день пропадали на катке в Зоологическом саду, куда забирали с собой гору бутербродов. Со стола никогда не убирали, и буфет стоял открытым с утра до вечера. Несмотря на это, случалось, что молодежь, проголодавшись совсем в неуказанное время, после коньков или поездки на балаганы, отправляла на кухню депутацию к Акинфичу с просьбой приготовить «что-нибудь вкусненькое». Старый пьяница, но глубокий знаток своего дела, Акинфич сначала обыкновенно долго не соглашался и ворчал на депутацию. Тогда в ход пускалась тонкая лесть: говорили, что теперь уже перевелись в Москве хорошие повара, что только у стариков и сохранилось еще неприкосновенным уважение к святости кулинарного искусства и так далее. Кончалось тем, что задетый за живое Акинфич сдавался и, пробуя на большом пальце острие ножа, говорил с напускной суровостью:

– Ладно уж, ладно... будет петь-то... Сколько вас там, галчата?

Ирина Алексеевна Руднева – хозяйка дома – почти никогда не выходила из своих комнат, кроме особенно торжественных, официальных случаев. Урожденная княжна Ознобишина, последний отпрыск знатного и богатого рода, она раз навсегда решила, что общество ее мужа и детей слишком «мескинно»<sup>5</sup> и «брютально»<sup>6</sup>, и потому равнодушно «иньорировала»<sup>7</sup> его, развлекаясь визитами к архиереям<sup>8</sup> и поддержанием знакомства с такими же, как она сама, окаменелыми потомками родов, уходящих в седую древность. Впрочем, мужа своего Ирина Алексеевна не уставала даже и теперь тайно, но мучительно ревновать. И она, вероятно, имела для этого основания, так как Аркадий Николаевич, известный всей Москве гурман, игрок и щедрый покровитель балетного искусства, до сих пор еще, несмотря на свои пятьдесят с лишком лет, не утратил заслуженной репутации дамского угодника, поклонника и покорителя. Даже и теперь его можно было назвать красавцем, когда он, опоздав на десять минут к началу действия и обращая на себя общее внимание, входил в зрительную залу Большого театра – элегантно и самоуверенно, с гордо поставленной на осанистом туловище, породистой, слегка седеющей головой.

Аркадий Николаевич редко показывался домой, потому что обедал он постоянно в Английском клубе<sup>9</sup>, а по вечерам ездил туда же играть в карты, если в театре не шел интересный балет. В качестве главы дома он занимался исключительно тем, что закладывал и перекладывал то одно, то другое недвижимое имущество, не заглядывая в будущее с беспечностью избалованного судьбой грансьенора<sup>10</sup>. Привыкнув с утра до вечера вращаться в большом обществе, он любил, чтобы и в доме у него было шумно и оживленно. Изредка ему нравилось сюрпризом устроить для своей молодежи неожиданное развлечение и самому принять в нем участие. Это случалось большею частью на другой день после крупного выигрыша в клубе.

– Молодые республиканцы! – говорил он, входя в гостиную и сияя своим свежим видом и очаровательной улыбкой. – Вы, кажется, скоро все заснете от ваших серьезных разговоров.

<sup>5</sup> Пошло (от фр. «mesquin»).

<sup>6</sup> Грубо (от фр. «brutal»).

<sup>7</sup> Игнорировала (от фр. «ignorer»).

<sup>8</sup> Архиерей – общее название высших чинов православного духовенства.

<sup>9</sup> Английский клуб – один из центров российской общественной и политической жизни; во многом определял общественное мнение.

<sup>10</sup> Грансьенор (фр. «grand seigneur») – большой барин (ирон.).

Кто хочет ехать со мной за город? Дорога прекрасная: солнце, снег и морозец. Страдающих зубной болью и мировой скорбью прошу оставаться дома под надзором нашей почтеннейшей Олимпиады Савичны...

Посылали за тройками к Ечкину<sup>11</sup>, скакали сломя голову за Тверскую заставу, обедали в «Мавритании» или в «Стрельне» и возвращались домой поздно вечером, к большому неудовольствию Ирины Алексеевны, смотревшей брезгливо на эти «эскапады<sup>12</sup> дурного тона». Но молодежь нигде так безумно не веселилась, как именно в этих эскападах, под предводительством Аркадия Николаевича.

Неизменное участие принимал ежегодно Аркадий Николаевич и в елке. Этот детский праздник почему-то доставлял ему своеобразное, наивное удовольствие. Никто из домашних не умел лучше его придумать каждому подарок по вкусу, и потому в затруднительных случаях старшие дети прибегали к его изобретательности.

– Папа, ну что мы подарим Коле Радомскому? – спрашивали Аркадия Николаевича дочери. – Он большой такой, гимназист последнего класса... нельзя же ему игрушку...

– Зачем же игрушку? – возражал Аркадий Николаевич. – Самое лучшее купите для него хорошенький портсигар. Юноша будет польщен таким солидным подарком. Теперь очень хорошенькие портсигары продаются у Лукутина<sup>13</sup>. Да, кстати, намекните этому Коле, чтобы он не стеснялся при мне курить. А то давеча, когда я вошел в гостиную, так он папироску в рукав спрятал...

Аркадий Николаевич любил, чтобы у него елка выходила на славу, и всегда приглашал к ней оркестр Рябова. Но в этом году<sup>14</sup> с музыкой произошел целый ряд роковых недоразумений. К Рябову почему-то послали очень поздно; оркестр его, разделяемый на праздниках на три части, оказался уже разобраным. Маэстро в силу давнего знакомства с домом Рудневых обещал, однако, как-нибудь устроить это дело, надеясь, что в другом доме переменят день елки, но по неизвестной причине замедлил ответом, и когда бросились искать в другие места, то во всей Москве не оказалось ни одного оркестра. Аркадий Николаевич рассердился и велел отыскать хорошего тапера, но кому отдал это приказание, он и сам теперь не помнил. Этот «кто-то», наверно, свалил данное ему поручение на другого, другой – на третьего, переврав, по обыкновению, его смысл, а третий в общей сумятице и совсем забыл о нем...

Между тем пылкая Тина успела уже взбудоражить весь дом. Почтенная экономка, толстая, добродушная Олимпиада Савична, говорила, что и взаправду барин ей наказывал распорядиться о тапере, если не приедет музыка, и что она об этом тогда же сказала камердинеру Луке. Лука, в свою очередь, оправдывался тем, что его дело ходить около Аркадия Николаевича, а не бегать по городу за фортепьянщиками. На шум прибежала из барышнинных комнат горничная Дуняша, подвижная и ловкая, как обезьяна, кокетка и болтунья, считавшая долгом ввязываться непременно в каждое неприятное происшествие. Хотя ее и никто не спрашивал, но она совалась к каждому с жаркими уверениями, что пускай ее Бог разразит на этом месте, если она хоть краешком уха что-нибудь слышала о тапере. Неизвестно, чем окончилась бы эта путаница, если бы на помощь не пришла Татьяна Аркадьевна, полная, веселая блондинка, которую вся прислуга обожала за ее ровный характер и удивительное умение улаживать внутренние междоусобицы.

---

<sup>11</sup> Ямщик Ечкин – во второй половине XIX в. хозяин гостиницы и почтовой станции в Нижнем Кисельном переулке в Москве.

<sup>12</sup> Проказы (от фр. «escapade»).

<sup>13</sup> Лукутин Николай Александрович (1853–1902) – владелец фабрики лаковой миниатюры в с. Федоскино, производившей шкатулки, табакерки и другие изделия.

<sup>14</sup> Рассказ наш относится к 1885 г. Кстати заметим, что основная фабула его покоится на действительном факте, сообщенном автору в Москве М. А. З-вой, близко знавшей семью, названную в рассказе вымышленной фамилией Рудневых. (Примеч. А. И. Куприна.)

– Одним словом, мы так не кончим до завтрашнего дня, – сказала она своим спокойным, слегка насмешливым, как у Аркадия Николаевича, голосом. – Как бы то ни было, Дуняша сейчас же отправится разыскивать тапера. Покамест ты будешь одеваться, Дуняша, я тебе выпишу из газеты адреса. Постарайся найти поближе, чтобы не задерживать елки, потому что сию минуту начнут съезжаться. Деньги на извозчика возьми у Олимпиады Савичны...

Едва она успела это произнести, как у дверей передней громко затрещал звонок. Тина уже бежала туда стремглав, навстречу целой толпе детишек, улыбающихся, румяных с мороза, запушенных снегом и внесших за собою запах зимнего воздуха, крепкий и здоровый, как запах свежих яблоков. Оказалось, что две большие семьи – Лыковых и Масловских – столкнулись случайно, одновременно подъехав к воротам. Передняя сразу наполнилась говором, смехом, топотом ног и звонкими поцелуями.

Звонки раздавались один за другим почти непрерывно. Приезжали все новые и новые гости. Барышни Рудневы едва успевали справляться с ними. Взрослых приглашали в гостиную, а маленьких завлекали в детскую и в столовую, чтобы запереть их там предательским образом. В зале еще не зажигали огня. Огромная елка стояла посередине, слабо рисуясь в полутьме своими фантастическими очертаниями и наполняя комнату смолистым ароматом. Там и здесь на ней тускло поблескивала, отражая свет уличного фонаря, позолота цепей, орехов и картонажей.

Дуняша все еще не возвращалась, и подвижная, как ртуть, Тина сторала от нетерпеливого беспокойства. Десять раз подбегала она к Тане, отводила ее в сторону и шептала взволнованно:

– Танечка, голубушка, как же теперь нам быть?.. Ведь это же ни на что не похоже.

Таня сама начинала тревожиться. Она подошла к старшей сестре и сказала вполголоса:

– Я уж не придумаю, что делать. Придется попросить тетю Соню поиграть немного... А потом я ее сама как-нибудь заменю.

– Благодарю покорно, – насмешливо возразила Лидия. – Тетя Соня будет потом нас целый год своим одолжением донимать. А ты так хорошо играешь, что уж лучше совсем без музыки танцевать.

В эту минуту к Татьяне Аркадьевне подошел, неслышно ступая своими замшевыми подошвами, Лука.

– Барышня, Дуняша просит вас на секунду выйти к ним.

– Ну что, привезла? – спросили в один голос все три сестры.

– Пожалуйте-с. Извольте-с посмотреть сами, – уклончиво ответил Лука. – Они в передней... Только что-то сомнительно-с... Пожалуйте.

В передней стояла Дуняша, еще не снявшая шубки, закиданной комьями грязного снега. Сзади ее копошилась в темном углу какая-то маленькая фигурка, разматывавшая желтый башлык<sup>15</sup>, окутывавший ее голову.

– Только, барышня, не браните меня, – зашептала Дуняша, наклоняясь к самому уху Татьяны Аркадьевны. – Разрази меня Бог – в пяти местах была и ни одного тапера не застала. Вот нашла этого мальчика, да уж и сама не знаю, годится ли. Убей меня Бог, только один и остался. Божится, что играл на вечерах и на свадьбах, а я почему могу знать...

Между тем маленькая фигурка, освободившись от своего башлыка и пальто, оказалась бледным, очень худощавым мальчиком в подержанном мундирчике реального училища<sup>16</sup>. Понимая, что речь идет о нем, он в неловкой выжидательной позе держался в своем углу, не решаясь подойти ближе. Наблюдательная Таня, бросив на него украдкой несколько взглядов, сразу определила про себя, что этот мальчик застенчив, беден и самолюбив. Лицо у него было некрасивое, но выразительное и с очень тонкими чертами; несколько наивный вид ему прида-

---

<sup>15</sup> Башлык – теплый суконный капюшон с длинными концами, надеваемый поверх шапки.

<sup>16</sup> Реальное училище – среднее или неполное среднее учебное заведение, в котором главная роль отводится предметам естественной и математической направленности.

вали вихры темных волос, завивающихся «гнездышками» по обеим сторонам высокого лба, но большие серые глаза – слишком большие для такого худенького детского лица – смотрели умно, твердо и не по-детски серьезно. По первому впечатлению мальчику можно было дать лет одиннадцать-двенадцать.

Татьяна сделала к нему несколько шагов и, сама стесняясь не меньше его, спросила нерешительно:

– Вы говорите, что вам уже приходилось... играть на вечерах?

– Да... я играл, – ответил он голосом, несколько сиплым от мороза и от робости. – Вам, может быть, оттого кажется, что я такой маленький...

– Ах нет, вовсе не это... Вам ведь лет тринадцать, должно быть?

– Четырнадцать-с.

– Это, конечно, все равно. Но я боюсь, что без привычки вам будет тяжело.

Мальчик откашлялся.

– О нет, не беспокойтесь... Я уже привык к этому. Мне случалось играть по целым вечерам, почти не переставая...

Таня вопросительно посмотрела на старшую сестру, Лидия Аркадьевна, отличавшаяся странным бессердечием по отношению ко всему загнанному, подвластному и приниженному, спросила со своей обычной презрительной миной:

– Вы умеете, молодой человек, играть кадрили? Мальчик качнулся туловищем вперед, что должно было означать поклон.

– Умею-с.

– И вальс умеете?

– Да-с.

– Может быть, и польку тоже?

Мальчик вдруг густо покраснел, но ответил сдержанным тоном:

– Да, и польку тоже.

– А лансье?<sup>17</sup> – продолжала дразнить его Лидия.

– *Laissez donc, Lidie, vous etes impossible*<sup>18</sup>, – строго заметила Татьяна Аркадьевна.

Большие глаза мальчика вдруг блеснули гневом и насмешкой. Даже напряженная неловкость его позы внезапно исчезла.

– Если вам угодно, *mademoiselle*, – резко повернулся он к Лидии, – то, кроме полек и кадрилей, я играю еще все сонаты Бетховена, вальсы Шопена и рапсодии Листа.

– Воображаю! – деланно, точно актриса на сцене, уронила Лидия, задетая этим самоуверенным ответом.

Мальчик перевел глаза на Таню, в которой он инстинктивно угадал заступницу, и теперь эти огромные глаза приняли умоляющее выражение.

– Пожалуйста, прошу вас... позвольте мне что-нибудь сыграть...

Чуткая Таня поняла, как больно затронула Лидия самолюбие мальчика, и ей стало жалко его. А Тина даже запрыгала на месте и захлопала в ладоши от радости, что эта противная гордышка Лидия сейчас получит щелчок.

– Конечно, Танечка, конечно, пускай сыграет, – упрашивала она сестру и вдруг со своей обычной стремительностью, схватив за руку маленького пианиста, она потащила его в залу, повторяя: – Ничего, ничего... Вы сыграете, и она останется с носом... Ничего, ничего.

Неожиданное появление Тины, влекшей на буксире застенчиво улыбавшегося реалистика, произвело общее недоумение. Взрослые один за другим переходили в залу, где Тина,

---

<sup>17</sup> Лансье (фр. «lancier») – английский бальный танец, сходный с кадрилию.

<sup>18</sup> Перестаньте же, Лидия, вы невозможны (фр.).

усадив мальчика на выдвижной табурет, уже успела зажечь свечи на великолепном шредеровском<sup>19</sup> фортепиано.

Реалист взял наугад одну из толстых, переплетенных в шагреню нотных тетрадей и раскрыл ее. Затем, обернувшись к дверям, в которых стояла Лидия, резко выделяясь своим белым атласным платьем на черном фоне неосвещенной гостиной, он спросил:

– Угодно вам «Rapsodie Hongroise»<sup>20</sup> № 2 Листа? Лидия пренебрежительно выдвинула вперед нижнюю губу и ничего не ответила. Мальчик бережно положил руки на клавиши, закрыл на мгновение глаза, и из-под его пальцев полились торжественные, величавые аккорды начала рапсодии. Странно было видеть и слышать, как этот маленький человечек, голова которого едва виднелась из-за попитра, извлекал из инструмента такие мощные, смелые, полные звуки. И лицо его как будто бы сразу преобразилось, просветлело и стало почти прекрасным; бледные губы слегка полуоткрылись, а глаза еще больше увеличились и сделались глубокими, влажными и сияющими.

Зала понемногу наполнялась слушателями. Даже Аркадий Николаевич, любивший музыку и знавший в ней толк, вышел из своего кабинета. Подойдя к Тане, он спросил ее на ухо:

– Где вы достали этого карапуза?

– Это тапер, папа, – ответила тихо Татьяна Аркадьевна. – Правда, отлично играет?

– Тапер? Такой маленький? Неужели? – удивлялся Руднев. – Скажите, пожалуйста, какой мастер! Но ведь это безбожно заставлять его играть танцы.

Когда Таня рассказала отцу о сцене, происшедшей в передней, Аркадий Николаевич покачал головой.

– Да, вот оно что... Ну, что ж делать, нельзя обижать мальчугана. Пускай играет, а потом мы что-нибудь придумаем.

Когда реалист окончил рапсодию, Аркадий Николаевич первый захлопал в ладоши. Другие также принялись аплодировать. Мальчик встал с высокого табурета, раскрасневшийся и взволнованный; он искал глазами Лидию, но ее уже не было в зале.

– Прекрасно играете, голубчик. Большое удовольствие нам доставили, – ласково улыбнулся Аркадий Николаевич, подходя к музыканту и протягивая ему руку. – Только я боюсь, что вы... как вас величать-то, я не знаю.

– Азагаров, Юрий Азагаров.

– Боюсь я, милый Юрочка, не повредит ли вам играть целый вечер? Так вы, знаете ли, без всякого стеснения скажите, если устанете. У нас найдется здесь кому побренчать. Ну, а теперь сыграйте-ка нам какой-нибудь марш побравурнее.

Под громкие звуки марша из «Фауста» были поспешно зажжены свечи на елке. Затем Аркадий Николаевич собственноручно распахнул настежь двери столовой, где толпа детишек, ошеломленная внезапным ярким светом и ворвавшейся к ним музыкой, точно окаменела в наивно изумленных, забавных позах. Сначала робко, один за другим, входили они в залу и с почтительным любопытством ходили кругом елки, задирая вверх свои милые мордочки. Но через несколько минут, когда подарки уже были розданы, зала наполнилась невообразимым гамом, писком и счастливым звонким детским хохотом. Дети точно опьянели от блеска елочных огней, от смолистого аромата, от громкой музыки и от великолепных подарков. Старшим никак не удавалось собрать их в хоровод вокруг елки, потому что то один, то другой вырывался из круга и бежал к своим игрушкам, оставленным кому-нибудь на временное хранение.

Тина, которая после внимания, оказанного ее отцом Азагарову, окончательно решила взять мальчика под свое покровительство, подбежала к нему с самой дружеской улыбкой.

---

<sup>19</sup> Шредер – старинная фамилия фортепианных мастеров из Саксонии. Фортепианная фабрика «К. М. Шредер» была основана в Петербурге в 1818 г.

<sup>20</sup> «Венгерская рапсодия» (фр.).

– Пожалуйста, сыграйте нам польку.

Азагаров заиграл, и перед его глазами закружились белые, голубые и розовые платица, короткие юбочки, из-под которых быстро мелькали белые кружевные панталончики, русые и черные головки в шапочках из папиросной бумаги. Играя, он машинально прислушивался к равномерному шарканью множества ног под такт его музыки, как вдруг необычайное волнение, пробежавшее по всей зале, заставило его повернуть голову ко входным дверям.

Не переставая играть, он увидел, как в залу вошел пожилой господин, к которому, точно по волшебству, приковались глаза всех присутствующих. Вошедший был немного выше среднего роста и довольно широк в кости, но не полн. Держался он с такой изящной, неуловимо небрежной и в то же время величавой простотой, которая свойственна только людям большого света. Сразу было видно, что этот человек привык чувствовать себя одинаково свободно и в маленькой гостиной, и перед тысячной толпой, и в залах королевских дворцов. Всего замечательнее было его лицо – одно из тех лиц, которые запечатлеваются в памяти на всю жизнь с первого взгляда: большой четырехугольный лоб был изборожден суровыми, почти гневными морщинами; глаза, глубоко сидевшие в орбитах, с повисшими над ними складками верхних век, смотрели тяжело, утомленно и недовольно; узкие бритые губы были энергично и крепко сжаты, указывая на железную волю в характере незнакомца, а нижняя челюсть, сильно выдвинувшаяся вперед и твердо обрисованная, придавала физиономии отпечаток властности и упорства. Общее впечатление довершала длинная грива густых, небрежно заброшенных назад волос, делавшая эту характерную, гордую голову похожей на львиную...

Юрий Азагаров решил в уме, что новоприбывший гость, должно быть, очень важный господин, потому что даже чопорные пожилые дамы встретили его почтительными улыбками, когда он вошел в залу, сопровождаемый сияющим Аркадием Николаевичем. Сделав несколько общих поклонов, незнакомец быстро прошел вместе с Рудневым в кабинет, но Юрий слышал, как он говорил на ходу о чем-то просившему его хозяину:

– Пожалуйста, добрейший мой Аркадий Николаевич, не просите. Вы знаете, как мне больно вас огорчать отказом...

– Ну хоть что-нибудь, Антон Григорьевич. И для меня и для детей это будет навсегда историческим событием, – продолжал просить хозяин.

В это время Юрия попросили играть вальс, и он не услышал, что ответил тот, кого называли Антоном Григорьевичем. Он играл поочередно вальсы, польки и кадрили, но из его головы не выходило царственное лицо необыкновенного гостя. И тем более он был изумлен, почти испуган, когда почувствовал на себе чей-то взгляд, и, обернувшись вправо, он увидел, что Антон Григорьевич смотрит на него со скучающим и нетерпеливым видом и слушает, что ему говорит на ухо Руднев.

Юрий понял, что разговор идет о нем, и отвернулся от них в смущении, близком к непонятному страху. Но тотчас же, в тот же самый момент, как ему казалось потом, когда он уже взрослым проверял свои тогдашние ощущения, над его ухом раздался равнодушно-повелительный голос Антона Григорьевича:

– Сыграйте, пожалуйста, еще раз рапсодию № 2. Он заиграл, сначала робко, неуверенно, гораздо хуже, чем он играл в первый раз, но понемногу к нему вернулись смелость и вдохновение. Присутствие *того*, властного и необыкновенного человека почему-то вдруг наполнило его душу артистическим волнением и придало его пальцам исключительную гибкость и послушность. Он сам чувствовал, что никогда еще не играл в своей жизни так хорошо, как в этот раз, и, должно быть, не скоро будет еще так хорошо играть.

Юрий не видел, как постепенно прояснялось хмурое чело Антона Григорьевича и как смягчалось мало-помалу строгое выражение его губ, но когда он кончил при общих аплодисментах и обернулся в ту сторону, то уже не увидел этого привлекательного и странного чело-

века. Зато к нему подходил с многозначительной улыбкой, таинственно подымая вверх брови, Аркадий Николаевич Руднев.

– Вот что, голубчик Азагаров, – заговорил почти шепотом Аркадий Николаевич, – возьмите этот конвертик, спрячьте в карман и не потеряйте, – в нем деньги. А сами идите сейчас же в переднюю и одевайтесь. Вас довезет Антон Григорьевич.

– Но ведь я могу еще хоть целый вечер играть, – возразил было мальчик.

– Тсс!.. – закрыл глаза Руднев. – Да неужели вы не узнали его? Неужели вы не догадались, кто это?

Юрий недоумевал, раскрывая все больше и больше свои огромные глаза. Кто же это мог быть, этот удивительный человек?

– Голубчик, да ведь это Рубинштейн<sup>21</sup>. Понимаете ли, Антон Григорьевич Рубинштейн! И я вас, дорогой мой, от души поздравляю и радуюсь, что у меня на елке вам совсем случайно выпал такой подарок. Он заинтересован вашей игрой...

Реалист в поношенном мундире давно уже известен теперь всей России как один из талантливейших композиторов, а необычайный гость с царственным лицом еще раньше успокоился навсегда от своей бурной, мятежной жизни, жизни мученика и триумфатора. Но никогда и никому Азагаров не передавал тех священных слов, которые ему говорил, едучи с ним в санях, в эту морозную рождественскую ночь его великий учитель.

*1900 г.*

---

<sup>21</sup> Рубинштейн Антон Григорьевич (1829–1894) – российский пианист, композитор, дирижер, основатель Русского музыкального общества (1859) и первой русской консерватории в Санкт-Петербурге (1862).

## Начальница тяги

### Самый правдоподобный святочный рассказ

Этот рассказ, который я сейчас попробую передать, был как-то рассказан в небольшом обществе одним знаменитым адвокатом. Имя его, конечно, известно всей грамотной России. По некоторым причинам я, однако, не могу и не хочу назвать его фамилии, но вот его приблизительный портрет: высокий рост, низкий и очень широкий лоб, как у Рубинштейна; бритое, точно у актера, лицо, но ни за актера, ни за лакея его никто не осмелился бы принять; седящая грива, львиная голова, настоящий рот оратора, – рупор, самой природой как будто бы созданный для страстных, потрясающих слов.

Среди нашего разговора он вдруг расхохотался. Так искренно расхохотался, как даже старые люди смеются своим юношеским воспоминаниям.

– Ну, конечно, господа, – сказал он, – так пародировать святочные рассказы, как мы сейчас делаем, можно до бесконечности. Не устанешь смеяться... А вот я вам сейчас, если позволите, расскажу, как мы однажды втроем... нет, виноват, вчетвером... нет, даже и не вчетвером, а впятером встречали Рождество... Уверяю вас, что это будет гораздо фантастичнее всех святочных рассказов. Видите ли: жизнь в своей простоте гораздо неправдоподобнее самого изощренного вымысла...

Мы трое были приглашены на елку к владельцу меднопрокатного завода Щекину, в окрестностях Сиверской. Наутро нам обещали облаву на лисиц и на волков с обкладчиками-костромичами, а если бы не удалось, то простую охоту с гончими. В этом приглашении было много соблазнительного. Елку предполагали устроить в лесу, – настоящую живую елку, но только с электрическим освещением. Кроме того, там была целая орава очаровательных детишек – милых, свободных, ничем не стесненных, – таких, с которыми себя чувствуешь в сто раз лучше, чем со взрослыми, и сам, незаметно для себя, становишься мальчуганом двенадцати лет. А еще, кроме того, у Щекиных в эти дни собиралось все, что только бывало в Петербурге талантливого и интересного.

А мы трое были: ваш покорный слуга, тогда помощник присяжного поверенного, один начинающий бас – теперь он мировая известность – и третий, ныне покойник, – он умер четыре года тому назад или, вернее, не умер, а его съела служебная карьера.

Ехали мы в самом блаженном, в самом радужном настроении. Накупили конфет, тортов, волшебных фонарей, фейерверков, лыж, микроскопов, коньков и прочей дряни. Были похожи на дачных мужей. Но настроение наше начало портиться уже на вокзале. Огромная толпища стояла у всех дверей, ведущих на платформу, – едва-едва ее сдерживали железнодорожные сторожа. И уже чувствовалась между этими людьми та беспричинная взаимная ненависть, которую можно наблюдать только в церквах, на пароходах и на железной дороге.

По второму звонку все это стадо ринулось на дебаркадер<sup>22</sup>. Опасаясь за наши покупки, мы вышли последними. Мы прошли весь поезд насквозь, от хвоста до головы. Мест не было. В третьем классе нас встретили сравнительно спокойно какие-то добродушные мужички, даже потеснились, чтобы дать нам место. Но было совсем стыдно злоупотреблять их гостеприимством. Они и так сидели друг у друга на головах. Во втором классе было почти то же самое, но уж с оттенком недружелюбия. Например: один чиновник ехал явно по бесплатному билету; я попробовал намекнуть ему, что железнодорожный устав строго требует, чтобы лица, едущие по бесплатному билету, уступали свои места пассажирам по первому требованию. Но он

---

<sup>22</sup> Дебаркадер – здесь: крытая платформа железнодорожной станции.

почему-то назвал меня нахалом и дураком и сказал: «Вы сами не знаете, с кем имеете дело». Я подумал, что это переодетый министр, и мы перешли в первый класс.

Тут нам сразу повезло. Конечно, все купе были закрыты, как это и всегда бывает, но случайно одна дверка отворилась, и один из нас, именно третий товарищ, успел просунуть руку в створку, помешав двери захлопнуться. Оказывается, в купе сидела дама, так лет тридцати – тридцати двух, прехорошенькая, но в ту секунду очень озлобленная и похожая на пороховую бочку, под которую только что подложили фитиль.

– Куда вы лезете, разве вы не видите, что это купе занято?

Ах, Боже мой, все мы хорошо знаем, как нелепо, нетактично и жестоко ведут себя дамы, а особенно чиновные, в первых двух классах поездов и пароходов. Они занимают вдвоем полвагона с надписью: «Дамское отделение», в то время когда в следующей половине мужчины стиснуты, как сардины в нераскупоренной коробке. Но попробуйте попросить у них гостеприимства для большого старика или утомленного дорогой шестилетнего мальчика, – сейчас же крики, скандал, «полное право» и так далее. Однако такая же дама способна влезть со своими баулами, картонками, зонтиками и всякой дрянью в соседнее «мужское отделение», стеснить всех своим присутствием, заявить: «Я, знаете, не переносу дамского общества», и завести на целую ночь утомительную трескотню, с визгами, игривым хохотом, ахами, ломаньем и кокетством, от которых наутро чувствуешь себя разбитым гораздо больше, чем тряской и бессонницей. В сопровождении бонны<sup>23</sup>, кормилицы и четырех орущих чад она входит в купе, где вы сидите тихонько, с послушным, скромным ребенком, останавливается на пороге и с отворачиванием фыркает: «Фу! И здесь каких-то детей напихали!» Словом, все это и многое другое мы прекрасно изучили и были уверены, что никакие меры кротости, увещевания и логика не помогут, но, как и всегда, в пятисотый раз пробовали тронуть сердитую даму.

Федор Иванович приложил руку к сердцу и на самой обольстительной ноте своего изумительного голоса сказал:

– Прелестная синьора... нам только три станции... если прикажете, мы будем сидеть у ваших ног.

Это оперное вступление нас и погубило. Почем знать, если бы он был один?.. Может, она и смиловилась бы. Но нас было трое. И, вероятно, поэтому фитиль достиг своей цели, и бочка разорвалась. Откровенно говоря, я никогда не слышал ни раньше, ни позже такой ругани. В продолжение двух минут она успела нас назвать: железнодорожными ворами, безбилетными зайцами, убийцами, которые в своих гнусных целях прибегают к хлороформу, и даже... простите, барыня... поставщиками живого товара в Константинополь.

Потом, в своем гневе, она закричала:

– Кондуктор!

Но разве мог прийти ей на помощь кондуктор? Вероятно, в эту минуту он с трудом прокладывал себе дорогу в самом заднем вагоне по человеческим головам.

Тогда, ошеломленный ее бурным натиском, я позволил себе робко спросить:

– Сударыня, вы едете одни... Может быть, вы знаете случайно, кому принадлежат вот эти вещи: четыре картонки, два чемодана, плетеная корзина, деревянная лошадь почти в натуральную величину, вот эти горшки с гиацинтами, игрушечные ружья, барабаны и сабли, этот портплед<sup>24</sup>, наконец, этот торт и банки с вареньем?

– Не знаю, – сухо ответила она и отвернулась к окну.

– Сударыня, – продолжал я тоном рабской мольбы, – вы сами видите, что мы нагружены, как верблюды. Мы падаем с ног от усталости... Мы не обеспокоим вас долго своим присут-

---

<sup>23</sup> Бонна (фр. «bonne») – воспитательница-иностранка при маленьких детях.

<sup>24</sup> Портплед – дорожная сумка или чехол для пледа и постельных принадлежностей.

стviем. Всего лишь три станции... Не позволите ли вы положить эти чужие вещи наверх, в сетки? Ну, хотя бы из христианского милосердия.

– Не позволю... – ответила дама.

– Но ведь все равно вещи не ваши. Не так ли? Если бы мы сами попробовали их переместить.

Опять на нас повернулось красное, пылающее лицо.

– Ого! Попробуйте. Попробуйте только! Да вы знаете, с кем имеете дело? Нахалы! Вы сами не знаете, к кому пристааете. Я – начальница тяги! Я вас в двадцать четыре часа...

Мы не дослушали. Мы вышли в коридор для небольшого совещания. К нам присоединился какой-то милый, чистенький, маленький, серебряный старичок в золотых очках. Он все время был свидетелем наших перекоров. Он-то нам и дал один очень простой, но ехидный совет.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.